

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА БОБРИК

ОТ РАЦИОНАЛИЗМА К ЭПОХЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:
СТАТЬЯ А.А. РЖЕВСКОГО “О МОСКОВСКОМ НАРЕЧИИ”
И ЯЗЫКОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ XVIII ВЕКА

Статья А.А. Ржевского “О московском наречии”, опубликованная в февральской книжке журнала “Свободные часы” за 1763 год (обоснование авторства см. Бобрик, Зорин 1990), представляет собою краткий очерк московского произношения гласных, обрамленный некоторым общим рассуждением о русском языке. Краткий этот текст занимает явно маргинальное положение в языковых коллизиях XVIII века. Точнее, вовсе в них не попадает: вершина полемики о судьбах литературного языка между Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым была к этому времени позади, а до споров вокруг “нового слога” Карамзина было еще добрых три десятилетия. В этот период затишья и появляется статья Ржевского, своеобразие которой определяется состоянием “промежутка” (в тыниновском смысле) в развитии отечественной филологической мысли. Размыщляя над такими ключевыми для этой эпохи вопросами, как соотношение церковнославянского (далее цсл.) и русского, письменно-литературного и разговорного, западноевропейских и русского языков, Ржевский приходит к синтезу взглядов Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова на эти проблемы. При этом ряд противоречий между позициями названных авторов оказывается “снятым”, а расстановка акцентов делает заметными пути к языковым программам конца XVIII — начала XIX века. Сам Ржевский подчеркнуто отказывается от роли нормализатора, однако соединительные линии между двумя эпохами языковой теории отчетливее видны именно в тексте, принадлежащем перу не-‘грамматиста’ Ржевского.

Остановимся прежде всего на понятии ‘московский язык’, из которого исходит автор в своих построениях. Ржевский определяет его как язык “разговоров” и утверждает, что на нем “говорит Москва и целая почти Россия” (Ржевский 1990, 34)¹.

Первое очевидно, ибо фонетические явления, о которых говорит Ржевский — а это главным образом аканье и “переход” *e* в *o* после мягких под ударением, — безусловно составляют принадлежность разговорного языка. Ломоносов в “Российской грамматике” специально замечает, что описанное им московское произношение, в том числе аканье, “больше употребительно в обыкновенных разговорах” (Ломоносов 1950-1983, VII,

427). Приводя примеры произношения *о* после мягких под ударением, он указывает, что так говорят “в просторечии” (там же, 425). На протяжении всего XVIII века эта черта произношения воспринимается как нестандартная. Хотя система “трех стилей” Ломоносова допускала *о* после мягких под ударением в среднем стиле, в литературную практику эта норма проникла весьма медленно именно потому, что воспринималась как “низкая” (Панов 1990, 289–299). Совершенно четко это восприятие сформулировано в “Разговоре об ортографии” Тредиаковского, который указывает: “Всего народа, а сей есть піскій, і почтай могу сказать самый простый выговоръ, такое чистое свойство имѣеть, что єдва не всѣ, іл по самой большой часті (е), ұдаряемыя произносітъ четвертою двугласною (іð). Напрімѣръ, везійтъ, вмѣстъ везѣтъ.” (Тредиаковский 1849, III, 252).

Другое дело — признать, что московское “просторечие” стало практически общероссийским разговорным языком. Придание речи москвичей подобного статуса — новое в языковом сознании эпохи. В казалось бы близких по времени к статье Ржевского сочинениях 1740-х—1750-х годов Тредиаковский и Ломоносов видят в речи Москвы не более как диалект “российского” языка. Так, в “Разговоре об ортографии”, описывая акающее произношение как основную примету речи москвичей, Тредиаковский замечает: “... московскій языку, і сімъ самымъ первенствующимъ ізъ всіхъ прочихъ провінціальныхъ, произносітъ всѣ (о) ұдаряемыі сілою, какъ (о); но когорыі не ұдаряются сілою, тѣ оныі главнѣйшій выговоръ произносітъ какъ (а)” (Тредиаковский 1849, III, 96). Считая подобное произношение приятным, автор “Разговора” отводит московской речи роль хотя и “главнейшего”, но все же одного из “провинциальных” диалектов русского языка. Сходным образом Ломоносов в “Российской грамматике” говорит о московском как об одном из “главных российских диалектов, которые суть три: московский, северный, украинский” (Ломоносов 1950–1983, VII, 429–430). Выделяя далее московское наречие среди прочих упомянутых, он пишет, что оно “не только для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочтется” (там же, 430); кроме того, этот диалект “главной и при дворѣ и въ дворянствѣ употребительной и особенно въ городахъ, близъ Москвы лежащихъ” (там же, 608)². Итак, хотя социальный и эстетический статус московской речи достаточно высок, она и в восприятии Ломоносова остается ограниченной в своем употреблении.

Действительно, “московское произношение (акающее) еще не победило”, “акающая речь не считалась тогда единственной литературной. Высокий авторитет церковно-славянского языка покровительствовал оканью и в бытовой речи” (Панов 1990, 396, 432). Отстаивая языковое первенство Москвы, Ржевский очевидно игнорирует реальную множест-

венность произносительных норм и говорит об аканье как о победившем. Поэтому для него это — явление того же порядка, что и произношение *о* после мягких под ударением, в то время как, например, у Тредиаковского они отчетливо противопоставлены: если аканье — свойство “московского выговора”, то *о* после мягких под ударением присуще “всего народа” произношению (Тредиаковский 1849, III, 252; ср. цитату выше).

Таким образом, московское произношение уже к началу 1760-х годов (ср. Панов 1990, 397) перестает осознаваться как провинциальное, а точка зрения Ржевского является одним из звеньев того процесса “чистки разговорного языка образованных классов общества”, в ходе которого “разговорный язык приспособляется к светскому общедиалектному обиходу столицы” (Виноградов 1928, 44; ср. Левин 1964, 98–104).

Показательно в этой связи использование Ржевским термина “московский язык”. Как будет показано в дальнейшем, автор статьи “О московском наречии” обнаруживает внимательное прочтение двух наиболее заметных сочинений этого времени, касающихся вопросов произношения и орфографии, а именно, “Разговора об ортографии” (1748) В.К. Тредиаковского и “Российской грамматики” (1755) М.В. Ломоносова. Словосочетание *московский язык* — первое и весьма знаменательное совпадение словоупотребления Ржевского и Тредиаковского, использовавшего это обозначение в “Разговоре” (1849, III, 96; цитату см. выше), хотя и с меньшей терминологической определенностью. Ржевский, как представляется, называет московскую речь языком вполне сознательно, полемизируя с теми, кто видит в ней диалект русского языка. Особенно отчетливо это проявляется при сопоставлении ее в статье с иными языковыми системами. Так, ставя московскую речь в один ряд с итальянским и другими национальными языками, автор пишет: “Таков (прекрасен — М.Б.) итальянский ... и московский ..., который великолепием и изобилием своим никакому языку в свете не уступает” (34). Термин *язык* оказывается также более уместным при уяснении языковых отношений эпохи, чтобы разграничить цел., язык гражданской письменности и разговорный язык: “Язык, которым пишут знающие по-русски, отличен от славянского, а тот, которым говорит Москва и целая Россия, отличен от наших писем и от произношения, которое во оных употребляется” (34).

“Славянским” Ржевский называет цел. и связывает его с языковым прошлым. Это язык “старинных книг” (ср. “книги церковные” у Ломоносова), статичность которого в особенности ощущима на фоне развивающегося живого языка: “Перемена языка, — пишет Ржевский, — которая столь чувствительна для старинных книг сделалась, не далее простирается, как до одних только разговоров” (34).³

Термин *разговоры* характеризует в статье московский язык и имеет значение ‘разговорный язык’, ‘диалогическая речь’. В терминологическом значении Ржевский употребляет форму мн. ч. *разговоры*, в то время как форма ед. ч. используется им в общеязыковом значении ‘разговор, беседа’ (ср. Polikarpov 1988, 573–574; CAP 1806–1822, V, 827): “Перемена О в А всех прочих букв нужнее для нашего разговора: она истинную красоту языка показывает” (36).

По такой же модели (ед. ч., конкрет. → мн. ч., обобщ.-терминол.) образован и другой термин — *письма*, обозначающий “язык, которым пишут знающие по-русски” (34), т.е. русский литературный язык. Подобное употребление, калькирующее фр. *lettres* со значением ‘словесность, (гражданская) письменность’ (ср. польск. *pisma* с тем же значением), находим, в частности, в ‘Эпистоле’ о русском языке Сумарокова: “То, что постигнем мы, друг другу сообщаем / И в письмах то своих потомкам оставляем” (Сумароков 1957, 112), ср. там же: “Тот прозой и -стихом ползет, и письма оны, / Ругаючи себя, дает писцам в законы” (113). Для передачи конкретного значения ‘письмо, послание’, которое Сумароков, ссылаясь на “простонародное” употребление, поясняет словом *грамотка*, в том же тексте используется форма ед. ч. *письмо*: “Письмо, что грамоткой простой народ зовет, / С отсутствующими обычну речь ведет” (113). Употребление Сумарокова, т.о., ориентировано на французский язык, где ровно таково распределение форм *lettres* и *lettre*. Бóльшую, чем у Сумарокова, близость к употреблению Ржевского обнаруживает, однако, соответствующая терминология Ломоносова в ‘Российской грамматике’, где различаются *письма* и *разговоры*. Можно привести следующие примеры: “В начале иностранных речений, которые пишениего веку в российских письмах употребляться стали … *е* в двугласную потаенную не переменяется” (Ломоносов 1950–1983, VII, 425); “в родительных падежах, кончающихся на *го*, в простых российских словарях и в разговорах произносят, как *в*” (там же, 427); “сие произношение большие употребительно в обыкновенных разговорах” (там же).

Тредиаковский пользуется как парой *письмо — разговор*, так и парой *письма — разговоры*. Так, во второй редакции статьи о прилагательных (1755) он говорит следующее: “Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора” (цит. по Успенский 1985, 171)⁴. Ср. в ‘Разговоре’: “Въ дружескіхъ разговорахъ ошибка не столько ставится въ строку; въ письмахъ больше подвержена осмѣянію: но погрешеніе, імъ неизнаніе почтгай үжэ непростительно въ печати” (Тредиаковский 1849, III, 224)⁵. Однако из приведенных цитат, в особенности из последней, очевидно, что форма мн. ч. *письма*, если и приобретает в них обобщенный смысл, то выступает в значении ‘частная переписка’, но

не 'гражданская письменность', как это было у Сумарокова и Ломоносова.

Итак, в использовании терминов *разговоры* и *письма* Ржевский может опираться прежде всего на словоупотребление Ломоносова⁶. По той причине, однако, что эти термины как обозначения понятий, соответственно, 'разговорный русский язык' и 'литературный русский язык' практически не варьируют, хотя бы и в пределах небольшого текста, с другими терминами (например, российский или славено-российский язык), связь их с этими понятиями упрочивается, и тем самым в большей степени обосновывается их терминологическое значение.

Итак, в современной ему языковой ситуации, описываемой триадой *старинные книги — письма — разговоры*, Ржевский четко разграничивает цсл., русский литературный и разговорный языки. В то же время они, по его мнению, тесно между собою связаны, как генетически, так и функционально.

Московский язык Ржевский называет "новым", ибо он развился из "старого, древнего наречия", или "древнего языка" под влиянием дамской речи. "Древний язык" при этом отождествляется с цсл., что явствует из уподобления московского языка итальянскому, а "славенского" — латыни ("... италияnsкий, происходящий от латинского, и московский, основанный на славянском" — 34). Иными словами, Ржевский полагает, что русский разговорный язык происходит от цсл. То же предполагается и для русского литературного языка (языка "писем", в терминологии автора), однако с меньшей мерой отступничества от первоисточника: если в "разговорах" отменено старое и принято новое произношение, то в "письмах" связь со "старым наречием" сохраняется благодаря традиционной орфографии ("произношению"), под которой подразумеваются орфографические правила ломоносовской грамматики. Таким образом, языковые различия, наблюдаемые в настоящем, понимаются как разные стадии развития "древнего", т.е. цсл. языка; в "старинных книгах" он застыл и сохраняется, в "разговорах" от него совершенно отказались, наконец, "письма" — это область искусного балансирования между "древним" и "новым".

Именно благодаря своему родству с цсл. московский язык, по мнению Ржевского, "великолепием и изобилием своим никакому языку в свете не уступает, или пристойнее, все красоты прочих языков в себе имеет" (34). Восхищаясь красотой и богатством московского наречия, автор, однако, прежде всего заботится о способах исправления и совершенствования русского литературного языка. Пути исправления видятся ему в сохранении дистанции между устным и письменным языками, в обращении к традиционной орфографии и богатствам "древнего языка", в ограничении заимствований из иностранных языков.

Ржевский является сторонником формулы “писать не так, как говорят”. “Многие скажут, — рассуждает он, — для чего и не писать так, как мы говорим? Такая вольность будет уже безмерно велика и наконец не останется и следов древнего языка нашего” (37). Опасность следования произношению на письме видится автору в забвении связей с “природным” языком. “Добрый разум” и “почтение к остаткам старины” требуют, чтобы и дамы подчинились всеобщим законам письменного языка и “чтоб тот язык употребляли в своих письмах, который у знающих по-русски употребителен” (37).⁷ Таким образом достигается желаемая дистанция и распределение функций между письменным и разговорным языками, между “языком писем” и “московским языком”: “Одни так говорить будут, как не пишут, а другие так писать станут, как не говорят” (37).

Опасность отказа от древней традиции состоит в порче языка, которая еще более усугубляется заимствованиями из других языков, полагает Ржевский. Поэтому, полемизируя со сторонниками принципа “писать, как говорят”, он указывает: “Мы отменим старое наречие в разговорах наших, отменим его в письмах, потом нанесем в свой язык чужестранных слов, наконец, вовсе по-русски позабыть можем, что очень жалко, и такого убийства с природным своим языком ни один народ еще не делал, хотя уже и так конечным истреблением наш язык угрожается” (37).

Весь этот комплекс идей — о родстве и единстве русского и цел., о богатстве русского языка, о близости русского литературного языка к цел., протест против заимствований из западноевропейских языков — характеризует лингвистическую идеологию 1750-х—1760-х годов в целом. В тех или иных содержательных и терминологических вариациях мысли эти содержатся в сочинениях Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова, написанных в этот период (ср. Виноградов 1982, 102-154; Успенский 1985, 158-183; Живов 1986; Живов 1990, 65-130). Не останавливаясь на сходствах и параллелях, отметим значимое смещение акцентов в обсуждении данной проблематики. И Ломоносов, и Тредиаковский, говоря о природном единстве цел. и русского языков, имеют в виду прежде всего русский литературный язык, который перенимает от цел. изобилие “книг церковных”, “т.е. книжного языка, противопоставленного языку разговорному” (Живов 1990, 91-92). Ржевский, внимание которого сосредоточено на живом произношении разговорного “московского языка”, говорит об изобилии и богатстве именно этого языка, ибо его достоинство и статус общероссийского средства общения он отстаивает.

Идеи, о которых идет речь, сохраняют актуальность и к началу XIX века. Они присутствуют не только в построениях А.С. Шишкова, но и в языковой концепции Н.М. Карамзина, который в статье “О любви к отечеству и народной гордости” (1802), в частности, указывает: “Язык

наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богатее гармонией, нежели французский; способнее для излияния души в тонах; представляет более аналогических слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки!¹⁸ Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре?” (Карамзин 1984, II, 229). Сходные мысли Карамзин высказывает в статье “О богатстве языка” (1795) (там же, 85). В том, что богатство русского языка видится автору приведенного рассуждения не в последнюю очередь в “гармонии” и выразительности русской речи, сказывается работа, проделанная филологической мыслью во второй половине XVIII века и нашедшая отражение, в частности, в статье Ржевского.

Дело в том, что, по мнению Ржевского, хотя московский язык коренился в “славянском”, развился и усовершенствовался он под влиянием языка дам, “которым... нежность языка свойственнее”. Результатом этого воздействия явилось то, что “умягчилась грубость древнего языка и произвела приятное, чистое и пленяющее наречие по всей России” (34). Непосредственным предшественником Ржевского в этом взгляде можно считать Тредиаковского, который приписывал языку женщины особую “нежность”. “Иже́ний дамскій выговоръ, — писал он, в частности, в “Разговоре об ортографии”, — даю үже́ у насъ яконы наклюдаетъ. А дами кого сеѣк не заставягъ, не прѣлакай кирочемъ, послѣдокачъ?” (Тредиаковский 1849, III, 285). Задав этот риторический вопрос, Тредиаковский не оставляет его, однако, без иллюстрации. Обсуждая преобразование в латинском языке сочетаний типа *ta, pa* в сочетания типа *ta, fa*, автор “Разговора” уверяет своих читателей, что причиной этого изменения была исключительно “легость къ выговорѣ, къ которой ко всѣхъ языкахъ осоюлко иже́ний женскій полъ склоненъ” и что именно “неправильность” нового произношения “доказываетъ, что сеѣ әдѣлалось не нарочно, но нечукосткѣтельно үтвердилось ко всемъ тогда народѣ..., такъ что подланно никто другой сего не зачиналь, кроме иже́наго выговора, который ні на какую правильность не смотрітъ” (там же, 118–119). Приводя этот пример, Тредиаковский недвусмысленно намекает, что склонность “нежного женского пола” к “легости в выговоре” он мог бы продемонстрировать и на русском материале: “Можно сеѣ і нашимъ языкомъ доказать, ежелігъ о семъ дѣло у меня было” (там же, 119). Этот ход мысли Тредиаковского как бы подхватывает Ржевский в своей статье: “Красота приводит к покорности, — пишет он, — наречие в устах красавиц претворяет самые основательные правила по их желанию и делается время от времени законным” (34).

Для размышлений Ржевского о влиянии дамской речи на русский язык чрезвычайно существенной оказывается идея развития языка и его усовершенствования, которая распространяется в России в XVIII веке и проходит через сочинения русских авторов от Ф. Поликарпова до Н.М. Карамзина⁹. Опираясь на эту идею, предполагающую противопоставление “древнего” и “нового”, Ржевский развивает мысль Тредиаковского о “нежности” дамской речи. Более того, ей уделяется преобразующая роль в судьбах разговорного языка, ибо именно под влиянием их неправильного с точки зрения “грамматистов” произношения происходит благотворная “перемена”¹⁰ от “грубоści” к “нежности”¹¹. Сделав этот шаг, Ржевский существенно приближается к позиции Карамзина по вопросу о роли дамской речи (см. о ней Левин 1964, 129-130; Успенский 1985, 57-60).

Возникающая таким образом позиция связана с представлениями литераторов круга М.М. Хераскова, к которым принадлежал Ржевский, о преобразующей роли эстетического начала в мире (ср. Rothe 1978, 100-102). Совершенно закономерно поэтому изменения в разговорном языке под воздействием дамской речи, как и само московское наречие, Ржевский оценивает прежде всего с эстетических позиций, о чем он заявляет в первой же фразе своего рассуждения: “Красота языка прежде всего познается от приятного выговора речений; когда слух согласным¹², великолепным и чистым произношением слов проницаем бывает, тогда мы называем таковые языки прекрасными” (34). Он решительно отделяет себя от “грамматистов”, стоявших на страже “основательных правил”. В этом противопоставлении творческого и нормализаторского начал Ржевский единодушиен с Сумароковым, в сочинениях которого неоднократно встречаются протесты против “безобразного педантства”¹³. Первенствующую роль Ржевский отводит благозвучию и красоте, которая “коснулась твердому основанию языков, рассеяла их правила и дала им новый вид, который... слух наш и сердца наши пленяет” (34).

К слуху и сердцу апеллирует понятие вкуса, вводимое Ржевским в собственно языковую проблематику. Говоря об аканье как о благозвучнейшем свойстве московского языка, Ржевский видит в нем проявление “хорошего вкуса предков наших и что они приятность слова довольно чувствовать могли, когда с таким успехом и удачею язык свой от прежней грубоści очистить умели” (36). В среде московских литераторов круга М.М. Хераскова переносное употребление слова *вкус* вслед за цсл. *вкусъ*, а также франц. *goût* было в особенности распространено (Rothe 1980, 503)¹⁴. Ценность приведенной цитаты из статьи Ржевского состоит в том, что она дает едва ли не самый ранний собственно языковедческий контекст употребления этого слова в значении ‘эстетическое чувство’.

Усвоение этой семантики явилось реакцией на рационалистический пуританский 1750-х годов, когда вкус связывается прежде всего с разумом, разумностью, правилами, обученностью, и соответствующим содержанием наполняются такие стилистические категории, как “жестокость”, “грубость”, “нежность”, “приятность”¹⁵. Позднее Карамзин воспримет эти понятия в свою стилистическую систему, однако будет связывать их прежде всего с чувством, чувствительностью, употреблением, интуицией, возвращаясь во многом к позициям раннего Тредиаковского, Адодурова, Кантемира и развивая их в новых условиях (Успенский 1985, 19-21; о влиянии концепции Вожела: 61-65; Левин 1964, 121-125). Как показывает текст Ржевского, движение в этом направлении начинается в начале 1760-х годов в херасковском кружке московских литераторов (лит. о нем см. Rothe 1978).

Свойство “грубоści” Ржевский, как уже упоминалось, приписывает “древнему языку”, отождествляемому с цсл. В качествеrudimenta “грубая” манера произношения может сохраняться и в современном автору языке. Так, в статье отмечается, что отнюдь не все последовали примеру дам, но “некоторая часть самых здешних жителей осталась при прежней грубоści, чем сложение сердец своих явно доказывает” (34).

Среди обсуждаемых Ржевским фонетических явлений противопоставление “грубого” и “приятного” с особенной наглядностью представлено на примере оканья/аканья и *e/o* после мягких под ударением.

Эстетическое неприятие оканья ни в коем случае не является собой протест против звука/буквы *o* как такового, который может служить для “умягчения” неприятной на слух и некрасивой по начертанию *у*: “В славянских книгах ставится перед *У* *О* для умягчения в произношении сей буквы, которая в самом деле сама собою груба и требует неотменной мягкости в выговоре” (36). Есть основания полагать, что словами *грубоſть*, *грубы́й* Ржевский обозначает то, что целый ряд авторов XVIII века называли варваризмом¹⁶, в том числе применительно к фонетическим явлениям; ср., например, толкование Тредиаковского: “Баркаřесмъ называется то, когда рѣчь какая есть свойственно того языка, комъ кто говоритъ, или пишетъ; но не прямо написана, или выговорена, или силою ударена” (Тредиаковский 1752, I, 10). Можно полагать, что для автора статьи “О московском наречии” оканье неприятно на слух и противно хорошему языковому вкусу, потому что произношение безударных гласных как ударного *o* нарушает нормальный ритм ударений и воспринимается как спондей в речи. Аканье, напротив, получает у Ржевского, как уже говорилось, положительную эстетическую оценку. Звуку/букве *a* приписывается свойство “нежности”: “Может быть, в рассуждение его (аза — М.Б.) нежности сие преимущество имеет он, что

многим дает верх над другими” (35). Параллели такой оценке находим, в частности, в “Российской грамматике” Ломоносова (“особливо выговор буквы *о* без ударения, как *а*, много приятнее” — Ломоносов 1950-1983, VII, 430; ср. в эпиграмме “Искусные певцы...”: “Великая Москва в языке толь нежна, / Что *А* произносить за *О* велит она” — VIII, 542) и в “Разговоре об ортографии” Тредиаковского (“ін'жин'шій московській выговоръ необходімо проізносіть такій (*о*), какъ (*а*), для того что оні не ӯдаряємы” — Тредиаковский 1849, III, 207)¹⁷.

Свойствами “нежности” и “приятности” московский язык обладает благодаря “перемене” *e* в *ио*, т.е. произношению *о* на месте *e* после мягких под ударением. “Сие превращение Е в ИО, нимало не повреждая силы и важности слов российских, делает их нежными и приятными; в самом деле, — продолжает Ржевский, — тотчас можно услышать некоторую сладость в языке нынешнего века, например: не лучше ли сказать вместо: орел несет елку, ариол несиот иолку” (35). Как известно, введением в орфографию буквы *ё* это произношение, устойчиво рассматривавшееся как нестандартное, было легализовано Карамзиным. Его предшественником Ржевский может быть назван в том смысле, что он дает такому произношению положительную эстетическую оценку, хотя и не намерен допускать его в литературный язык.

Сама буква *e*, наделенная “стройным телом” и достойным эмблематическим содержанием (“Нептунов трезубец изображает”), как полагает Ржевский, приятна глазу и слуху. Говоря о произношении буквы *e* как *и* в уменьшительных формах типа *тоненькой*, Ржевский недоумевает, как в столь высоко им ценимом московском языке могло утвердиться подобное предпочтение звука *и*. “Буква Е сама собою гораздо приятнее в выговоре, — пишет он, — нежели И, которую и в музыке убегать стараются” (35). Здесь, как и во всей фонетической части своего очерка, Ржевский следует “Российской грамматике” Ломоносова, в данном случае пересказывая §119 ее, который говорит следующее: “*E* и *i* полагаются одно вместо другого неправильно: 1) в умалительных *малинькой* вместо *маленькой* /.../. Что ж до слуху надлежит, в том уверяют музыканты, которые в протяжных распевах недаром букву *i* обходят, не протягивая на ней долгих выходок, но выбирая к тому *a* или *e*. Сверх того свойство нашего российского языка убегает от скучной буквы *i*” (Ломоносов 1950-1983, VII, 432)¹⁸. Вопрос о выборе между *e* и *i* ассоциировался с дискуссией 1750-х годов об окончаниях прилагательных, которая, постепенно расширяясь, захватила и другие случаи конкуренции этих звуков/букв (Успенский 1984, 79, 104-106). Ржевский, вставая в этом вопросе на точку зрения Ломоносова, тем самым вступал в полемику со своим литературным патроном Сумароковым, что показательно для его умонастроения в данный период.

Итак, “нежными”, “приятными”, “мягкими” Ржевский считает звуки/буквы *a*, *o*, *e*, *а*, напротив, неприятными, “грубыми”, “скучными” — *и* и *у*. Нетрудно заметить, что единственный акустический признак, воспринимаемый на слух, по которому данные звуки распределяются именно таким образом на две группы — это признак диффузности/компактности. Т.о., “приятные” — это компактные, а “неприятные” — это диффузные звуки. Таково акустическое содержание этих терминов. Как эстетические характеристики они описывают формальную сторону (план выражения) речи, “нимало не повреждая силы и важности”, т.е. значения, а также значительности и серьезности “слов российских”.

“Нежность” как качество московского наречия не случайна на фоне сравнения его с итальянским языком (цит. см. выше). Она восходит, по-видимому, также к “Российской грамматике” Ломоносова. В материалах к ней Ломоносов замечает: “Нашъ (язык — М.Б.) много подобенъ италіанскому” (Ломоносов 1950-1983, VII, 606). О том, в чем именно русский “подобен” итальянскому, он говорит в известном пассаже предисловия к грамматике: “Карл Пятый, римский император, говоривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом говоритьлично. Но если бы он российскому языку был искусен, то /.../ нашел бы в нем великоление испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка” (там же, 391). Итак, именно итальянский язык признается “нежным” и ассоциируется с дамами. Как бы конкретизируя эти высказывания Ломоносова, Ржевский показывает, в чем именно проявляется красота московского языка, подобного итальянскому¹⁹.

Отталкивание Ржевского от рационализма, которое мы уже наблюдали в его понимании языкового вкуса, ярко выражается в склонности приписывать звукам/буквам определенные семантические или эмоциональные характеристики. Так, решающим в положительной оценке буквы *e* оказывается “стройность” ее “тела” и то, что она “Нептунов трезубец изображает” (35); аканье объясняется первенством “аза” в алфавите и “почтением” к нему со стороны остальных букв (35); наконец, оправдание произношению *и* вместо *e* находится в том, что “И делает союз в речах наших и для сего единого имени вошло в такое почтение /.../, ибо союз в другом разумении есть дело великое, а особливо добрый” (35). В подобных формулировках находит отражение не только эмблематичность мышления XVIII века, но и представление о смысловой выразительности графической и фонетической формы. Оно становится в особенности отчетливым на фоне, например, такого частного эпизода

языковой полемики, как обсуждение места ϕ и θ в русской азбуке и орфографии. В “Разговоре об ортографии” собеседник Тредиаковского отстаивает необходимость сохранения обеих букв, аргументируя это тем, что если из азбуки выкинуть θ , во многих словах греческого происхождения “пропадетьтъ знаменование, ілі перемѣнїтъсѧ въ другое: іко когда сіє слово напримѣръ Феодоръ, которое значить Божій даръ, напишется чрезъ (Ф) такъ, Феодоръ, то будетьтъ значить бліевъ даръ” (Тредиаковский 1849, III, 107). Полемизируя с этим взглядом, а тем самым с определенным направлением церковнославянской филологической традиции (в частности, с Ф. Поликарповым), Тредиаковский отстаивает строго конвенциональное понимание языкового знака. Поскольку, по его мнению, “каждая буква есть наружный знакъ звона”, то “(Ф), написанный вместо (Ѳ), не перемѣнїтъ, ні істрагітъ знаменованія въ словѣ Феодоръ” (там же, 121-122). “Спрашиваль я г. Ломоносова, — вспоминает Сумароков в статье начала 1770-х гг. “О правописании”, — ради чего онъ Φ , а не θ оставилъ (в грамматике — М.Б.); на что мнѣ онъ отвѣчалъ тако: Ета де литера стоитъ подпершия; и слѣдовательно бодряе: отвѣтъ издѣвочень, но не важень” (Сумароков 1781-1782, X, 9). В этом диалоге двух рационалистов примечательно, что подобную аргументацию, столь напоминающую рассуждения Ржевского, Сумароков с досадой воспринимает как издевку; как бы то ни было, в устах Ломоносова это не более как шутка.

Кроме того, на фоне ломоносовской грамматики и — шире — рационалистической линии русского Просвещения для взглядов Ржевского характерно то, что “красота”, “нежность” и “приятность” московского языка видятся ему не только в отдельных звуках (*a* в сравнении с *o* или *e* в сравнении с *u*), но и в свободе переходов (“перемен”) одних звуков/букв в другие, в прелести звуковых неопределенностей и переходных звучаний — словом, в органическом движении живой речи. В том, что “в новом языке нашем, названном московским, все почти гласные и согласные буквы переменяются одна в другую” (35), автор статьи видит исключительное достоинство этого языка. Именно поэтому, опираясь на описание аканья, приведенное Ломоносовым в “Российской грамматике”, Ржевский примечательным образом пытается описать саму артикуляцию безударного звука, среднего между *o* и *a*, через произносительные ощущения говорящего. Сдержанное ломоносовское определение (“*O* под ударением произносится чисто. Но когда нет на нем ударения, выговаривается как *a*, несколько с о смешанное” — VII, 426) переводится в иной регистр: “Голос, — пишет Ржевский, — будто перелетает мимо О”, “ни А / .../, ни О не произносятся ясно, но обе сии буквы вместе слитно выговариваются” (36). Эта разница в формулировках не столько обусловлена жанровыми различиями двух текстов, сколько знаменует собою

сдвиг в умонастроении Ржевского от рационализма к “чувствительности”. Именно 1763 год, когда была напечатана статья “О московском наречии”, явился, по мнению Г.А. Гуковского, той гранью, за которой Ржевский переживает этот сдвиг в своем поэтическом творчестве, что выразилось в отходе от целого ряда принципов воспринятой им рационалистической поэтики Сумарокова. “Он порывает с логикой и пытается набором несоответствий, эмоционально оправдываемых нелепостей (с точки зрения разума) выразить нелогичность чувства” (Гуковский 1927, 172). На этом фоне становится понятным, что именно смещение центра тяжести в область эмоционально-эстетических ценностей вновь вызывает к жизни идею особой роли женщин в обществе и языке. Однако внутреннее содержание этой идеи претерпевает неизбежные изменения. Дама, о которой идет речь у Ржевского, вызывает в воображении не столько щеголиху, сколько воплощение “нежного сердца” со страниц сочинений М.Н. Муравьева или Н.М. Карамзина.

Наблюдаемая эволюция объясняет и то, что параллели мыслям Ржевского у его западноевропейских современников находятся либо в виде топосов классицизма, утративших уже непосредственную связь с его доктриной, либо в виде идей, явившихся как реакция на него. Любопытную типологическую параллель статье “О московском наречии” составляют в этой связи заметки Ж.-Ж. Руссо под общим заголовком “Произношение” (“Prononciation”, 1761), служившие, по-видимому, наброском к “Очерку о происхождении языков” (1764).

Как и Ржевский, Руссо противопоставляет себя грамматикам, занятым анализом письменного языка, и обращается к живому разговорному языку, ибо “Ce ne sont pas les livres qui les (правила произношения — М.Б.) portent, ce sont les hommes” (Rousseau 1964, 1250). Одна из главных идей, развиваемых Руссо, — это идея изменений (по Ржевскому, “перемен”) в языке. Противопоставляя разговорный язык (*discours*, ср. *разговоры*) литературному (*livres*, *lettres*, ср. соответственно, *книги*, *письма*), он отмечает разницу в происходящих в одном и в другом изменениях. Если в литературном французском языке благодаря усилиям грамматиков и правилам имеет место “усовершенствование”, то в разговорном языке, как полагает Руссо, изменения носят естественный неуправляемый характер: “La langue en se perfectionnant dans les livres s’altère dans le discours” (там же, 1249-1250). Изменения в живом произношении (*altérations*, *changemens*, ср. *перемена*) Руссо связывает с “духом” и “характером”: “Voilà comment une langue change par degrés d’esprit et de caractère” (там же, 1251). Вспомним, что именно к “сложению сердец” апеллирует Ржевский в своем рассуждении о благотворных изменениях в московском языке. Что касается идеи усовершенствования литературного языка, то она

унаследована Руссо от французского классицизма в качестве прочно утвердившегося в лингвистической мысли общего места (Brunot 1966, 96). Наконец, очень отчетливо в заметках “О произношении” отражена тема столицы как законодателя в произношении. Язык Парижа для Руссо — это “настоящий французский” (“*le vrais françois*”). Именно выросший в XVIII веке авторитет Парижа, а также классическая словесность эпохи Людовика XIV сыграли, по его мнению, решающую роль в обуздании произносительной разноголосицы: “Que si depuis une centaine d’années cette altération paroît moins sensible cela ne vient pas seulement des livres excellens du siècle de Louis quatorze, lesquels sont devenus en quelque sorte classique dans celui-ci, mais aussi des changemens survenus dans le gouvernement, par lesquels Paris ayant un ascendant plus marqué sur toutes les Provinces leur impose pour ainsi dire aussi promptement la loi du langage que celle du Prince et les tenant toutes plus dépendantes de son usage les empêche de se communiquer assés les leurs pour qu’ils prévalent dans la totalité” (Rousseau 1964, 1252).

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы.

Статья А.А. Ржевского является чрезвычайно любопытным свидетельством того, как на втором плане русской филологической мысли начинается реакция на рационалистический пуританский 1750-х годов и движение в направлении языковой программы карамзинистов. Складываясь при этом переходная позиция, с одной стороны, интегрирует ряд идей, общих для участников языковых дискуссий предшествующего десятилетия (богатство русского языка, генетическая связь его с цел., необходимость дистанции между письменно-литературным и разговорным языками, сдержанность в отношении заимствований); с другой стороны, она дает развитие нерационалистически понимаемому критерию вкуса и идею о преобразующей роли свободной от правил женской речи. Поскольку при этом внимание автора сосредоточено на обиходной речи москвичей, которой придается статус едва ли не общероссийского разговорного языка, текст Ржевского составляет еще один шаг на пути легитимации этого языка со стороны культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Далее все цитаты из статьи А.А. Ржевского приводятся по этому изданию, указывается только соответствующая страница.

² Наиболее ранним из известных свидетельств о социальной окраске аканья является замечание А.Д. Кантемира в его рукописном русско-французском словаре 1737 г.: “Les Gentilhommes et leur imitateurs changent souvent l’o en a, tant au commencement qu’au milieu de mots; delà viennent les deux sortes de Prononciations, qui distinguent les Gens de mise avec le Peuple, Ceux la par exemple disent: *агурецъ, акошко, пападья, башмакъ*, et ceux-ci: *огурецъ, окошко, попадья, бошмакъ*” (цит. по Успенский 1989, 342).

³ В работе Бобрик, Зорин 1990 данная цитата прокомментирована неверно. Пользуемся случаем, чтобы устранить эту досадную ошибку.

⁴ Для обозначения изящной словесности Тредиаковский употребляет сочетания *красные письма* или *красные сочинения*, калькирующие франц. *belles lettres* (Успенский 1985, 171, примеч. 22).

⁵ Ср. словоупотребление Н.М. Карамзина в статье “Отчего в России мало авторских талантов?” (1802): “Русский *кандидат авторства*, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершение узнать язык” (Карамзин 1984, II, 124); ср. также в его рецензии на комедию “Граф Ольсбах” (1791): “Употребляем ли мы сии слова в разговорах?” (цит. по Левин 1964, 87).

⁶ Это не означает, однако, отсутствия отклонений от него. Вот некоторые из них:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ржевский | Ломоносов, “Росс. грамматика” |
| сила | ударение |
| слог | склад |
| умышнительное (имя) | умалительный (имя) |
| даугласная | даугласная/даугасная |
| (см. указатель) | (Schützimpf 1983, 196, 195, 196, 188) |

⁷ Об отражении аканья на письме с осуждением отзывался Ломоносов в “Российской грамматике” (Ломоносов 1950-1983, VII, 430). В одной из статей 1770-х годов об этом же будет писать Сумароков, иронизируя над дамским “аканциум” правописанием (Сумароков 1781-1782, X, 31-32). Известную параллель к этой позиции составляет тема грамматического просвещения дам во Франции 2-й половины XVIII в., когда был издан целый ряд пособий по орфографии, предназначенных специально для женщин, в частности, “Entretiens sur l’orthographe françoise” Ж.-Б. Роша (1777), “Grammaire des dames” аббата Бартелеми (1785), “Cantatrice grammairienne” (1788 — BnF 1966, VI, 928).

⁸ Термин *коренные языки* выступает здесь как синоним сочетания *древние языки*, к которым причислялись, в частности, греческий и латинский (ср. Müller 1990, 57-58).

⁹ Ср., например, формулировку Тредиаковского, предложенную им в “Речи... о чистоте Российского языка” (1735): “Посмотрите, отъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО лѣтъ, обратившись на мноих прошедшигъ годы; то размыслиши үвидигте ясно, что совершиенійшій сталъ въ ПЕТРОВЫ лѣта языкъ, нежели въ вышій прежде. А отъ ПЕТРОВЫХЪ лѣтъ толь отчасу прѣятійшіимъ во многихъ писателяхъ становится онъ, что инициа не сомнѣваюсь, чтоъ, достославныи АННЫ въ лѣта, къ совершиеніи не принеѧлъ своей высотѣ и красотѣ” (Тредиаковский 1752, II, 16; об этой идее у Карамзина см. Левин 1964, 116-121).

¹⁰ О несколько ином значении слова *перемена* у Ржевского см. ниже.

¹¹ В том, что “грубость” — свойство языкового прошлого, также находит выражение просветительская идея прогресса. Ср., например, оценку прежнего состояния языка в

предисловии Тредиаковского к переводу “Аргениды” (1751): “...По истине, перевода моего не будет ужé читать грубых времен новогородка Марфа поеадница: он сделан для нынешняго учтиваго и выцвеченаго (т.е. просвещеннаго употребления — М.Б.)” (цит. по Успенский 1985, 135).

¹² В сочетании *согласный язык* данное слово встречается в “Лексиконе трезычном” Ф. Поликарпова (1988, 639), где таким образом переводится известное по памятникам латинской литературы выражение *lingua modulata*, которое имело значение ‘мерный, ритмичный, мелодичный, гармоничный язык’.

¹³ Излишнюю нормализацию Сумароков усматривает, в частности, в академической практике постановки ударения над графическими омонимами. “Какая въ томъ нужда? — пишет он, — ибо самъ складъ ясно показываетъ, какое то реченіе. Пóтомъ и потóмъ и безъ силы различить можно...” (Сумароков 1781-1782, X, 35; за указание на мнение Сумарокова в этом вопросе я обязана В.М. Живову).

¹⁴ Связь данного значения с щегольским наречием (Успенский 1985, 134) к началу 1760-х гг., очевидно, ослабевает; по крайней мере, сатирические демарши херасковцев против щеголей не мешают им широко употреблять слово *вкус* в значении ‘goût’.

¹⁵ Так, например, у Тредиаковского “грубость” противостоит обученности в форме “учтивости”, “выцвеченности”, т.е. просвещенности и хорошим манерам; соответственно, рационалистически понимается употребление (Успенский 1985, 135, 183-186; cf. Lehfeldt 1992, 299).

¹⁶ В дефиниции, даваемой Поликарповым слову *грубость*, эти понятия оказываются связанными друг с другом: “βαρβαρότης, βαρβαροσύνη, βαρβαρισμός, ruditas, barbarismus, barbaries” (Polikarpov 1988, 174).

¹⁷ В более поздних статьях Сумарокова 1770-х гг. речь неоднократно идет о “нежности” московского произношения, например: “СЯ пѣжныѧ Московскиѧ нарѣчіѧ между СЯ и СА произносятся” (Сумароков 1781-1782, X, 53).

¹⁸ Ср. о том же в эпиграмме “Искусные певицы...” (1753): “Искусные певцы всегда в паневах тщатся, / Дабы на букве А всех доля остояться, / На Е, на О притом умеренность иметь, / Чрез У и через И с поспешностью лететь, / Чтоб онъм нежному была приятность слуху, / А сими непринесть несносной скучи уху.../ Довольно кажут намъ только ясныя доводы, / Что ищет наши языки везде от И свободы” (Ломоносов 1950-1983, VIII, 542).

¹⁹ Выбор именно гласных звуков для обсуждения в фонетической части очерка Ржевского мог объясняться не только тем, что самые яркие отличия московского произношения наблюдаются в области вокализма, но и в восприятии итальянского как языка с преобладающим вокализмом. Подобное восприятие стало впоследствии устойчивым в русской поэтической традиции, что можно было бы проиллюстрировать соответствующими высказываниями Батюшкова, Пушкина, Мандельштама и др.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ К СТАТЬЕ А.А. РЖЕВСКОГО “О МОСКОВСКОМ НАРЕЧИИ”

Азбука ‘алфавит’ — 35

Буква ‘звук, буква’ — 35, 36, 37

Важность (слов) ‘значение, суть’; ‘значительность, серьезность’ — 35

Великолепие (языка) ‘богатство, величие, красота’ — 34

Великолепный (о произношении) ‘в высшей степени красивый’ — 34

Вкус ‘эстетическое чувство’ — 36

- Время* 'временная форма глагола' — 35
Выговор 'произношение' — 34, ср. произношение
Гласная (буква) 'гласный звук и буква, его обозначающая' — 35
Грамматист 'грамматик, филолог' — 34
Грубость (языка) 'эстетическое несовершенство' — 34
Грубый (о букве, звуке) 'неприятный на слух и некрасивый по начертанию' — 36
Двугласная (буква) 'буквы я, ю, ы и обозначаемые ими звуки' — 36
Древний (о языке, наречии) 'относящийся к прошлому' — 34, 37, ср. старый
Звонко (о произношении гласных) — 35, 37
Знаменование 'значение, смысл' — 36, ср. разумение
Изобилие (языка) 'богатство' — 34
Имя 'слово' — 35; 'название' — 36; 'качество, функция' — 35
Книги старинные 'книги на цел. языке' — 34
Конец слова — 37, ср. окончание слова
Красота (языка) — 34; мн.ч. красоты (языка) — 34
Мягкость (в выговоре) — 36
Наречие 'произношение' — 34; наречие московское — 34, 36, ср. выговор, произношение
Нежность (о букве, звуке) — 35; (о языке) — 34
Нежный (о словах) — 35; (о выговоре) — 36
Новый (о языке, наречии) 'относящийся к настоящему' — 35, 37
Односложное слово — 36
Окончание слова 'окончание, конец слова' — 36, ср. конец слова
Падеж 'надежная форма слова' — 35
Перемена (языка) 'видоизменение, преобразование' — 34; (звук, буквы) 'позиционная мена' — 35, ср. превращение
Письма, мн.ч. 'тексты на русском литературном языке' — 34, 37
Пленяющий (о наречии) — 34
Правило (языка) — 34
Правильный язык 'литературный язык' — 37
Преображение (о звуке, букве) 'позиционная мена' — 35, ср. перемена
Прекрасный (о языке) 'благозвучный' — 34
Природный (о языке) 'родной' — 37, ср. свой
Приятность (слова) — 36
Приятный (о словах, наречии) — 34, 35
Произношение — 34, ср. выговор, наречие
Разговоры, мн.ч. 'диалогическая речь, разговорный язык' — 34, 35
Разумение 'значение, смысл' — 35, ср. знаменование
Речение 'слово' — 34, ср. слово
Речи, мн. ч. 'речь, разговорная речь' — 35
Российский (о словах) — 35
Свой (о языке) — 37, ср. природный
Сила (слов) 'значение' — 35, 36; 'ударение, акцент' — 35
Славянский (язык, книги) 'церковнославянский' — 34, 36
Сладость (в языке) — 35
Слово — 35, 36, ср. речение
Слог 'слог в слове' — 36
Согласная (буква) 'согласный звук и буква, его обозначающая' — 37
Согласный (о произношении) 'благозвучный' — 34

- Союз* — 35
Старый (о наречии) — 37, ср. древний
Тонкий (о звуке) ‘высокий по тону, нежный’ — 35
Уменьшительное имя ‘уменьшительно-ласкательная форма слова’ — 35
Умягчение (буквы) ‘придание благозвучности’ — 36
Употребительный (язык) ‘используемый, употребляемый’ — 37
Употребление — 36
Чисто (о произношении гласных) — 36
Чистый (о произношении) — 34
Чужестранное слово ‘иностранные слова, заимствование’ — 36
Чужой (язык) ‘иностранный язык’ — 37
Язык — 37; московский язык — 34, 35

ЛИТЕРАТУРА

- Бобрик, М.А., Зорин, А.Л.: 1990, ‘К истории московского самосознания (Статья “О Московском наречии” и ее автор)’, *Ново-Басманская* 19, Москва, 23-33.
- Виноградов, В.В.: 1928, ‘О слове ахинея в русском литературном языке’, *Русская речь. Новая серия* III, Ленинград, 43-44.
- Виноградов, В.В.: 1982, *Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков*, Москва.
- Гуковский, Г.: 1927, *Русская поэзия XVIII века*, Ленинград.
- Жинов, В.М.: 1986, ‘Богатство русского языка в концепции Ломоносова, его современников и последователей’, *М.В. Ломоносов и русская культура. Тезисы докладов конференции, посвященной 275-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (28-29 ноября 1986 г.)*, Тарту, 79-82.
- Живов, В.М.: 1990, *Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века*, Москва.
- Карамзин, Н.М.: 1984, *Сочинения в двух томах I-II*, Ленинград.
- Левин, В.Д.: 1964, *Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика)*, Москва.
- Ломоносон, М.В.: 1950-1983, *Полное собрание сочинений I-XI*, Москва, Ленинград.
- Панов, М.В.: 1990, *История русского литературного произношения XVIII-XX вв.*, Москва.
- (Ржевский, А.А.): 1990, ‘О Московском наречии’, *Ново-Басманская* 19, Москва, 34-37.
- САР: 1806-1822, *Словарь Академии Российской*, по алфавитному порядку расположенный I-VI, Санкт-Петербург.
- Сумароков, А.П.: 1781-1782, *Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе I-X*, Москва.
- Сумароков, А.П.: 1957, *Избранные произведения*, Ленинград.
- Тредиаковский, В.: 1752, *Сочинения и переводы как стихами так и прозою ... I-II*, Санкт-Петербург.
- Тредиаковский, В.К.: 1849, *Сочинения I-III*, Санкт-Петербург.
- Успенский, Б.А.: 1984, ‘К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики середины XVIII в.)’, *Russian Linguistics* 8, 75-127.
- Успенский, Б.А.: 1985, *Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни*, Москва.
- Успенский, Б.А.: 1989, ‘Социальная жизнь русских фамилий (вместо послесловия)’, в кн.:

Унгерайн, Б.А., *Русские фамилии*, Москва.

- Brunot, F.: 1966, *Histoire de la langue française des origines à nos jours*, T. VI, Paris.
- Lehfeldt, W.: 1992, 'О "внутренних" связях между взглядами молодого и старшего Тредиаковского на литературный язык', *Доломоновский период русского литературного языка. (Slavica Suecana B 1)*, 295-303.
- Müller, A.: 1990, *Zur Widerspiegelung des Sprachbewußtseins in den russischen Periodika (1755-1840) im Lichte der zeitgenössischen Grammatikrezeption. (Slavistische Veröffentlichungen, Bd. 69)*, Berlin.
- Polikarpov, F.: 1988, *Leksikon trejazyčnyj. Dictionarium trilingue. M. 1704. (Specimina Philologiae Slavicae Bd. 79)*, München.
- Rothe, H.: 1978, 'Zu Cheraskovs Dichtungsauffassung', *Studien zu Literatur und Aufklärung in Osteuropa. (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven Bd. 13)*, Giessen.
- Rothe, H.: 'Russ. vkus, 'Geschmack' ', *Romanica europea et americana. Festschrift für Harri Meier. 8. Januar 1980*, Bonn, 493-504.
- Rousseau, J.-J.: 1964, *Œuvres complètes*, T. 2, Paris.
- Schütrumpf, M.: 1983, 'Verzeichnis der grammatischen Termini der Rossijskaja Grammatika Lomonosovs und der deutchen Übersetzung Stavenhagens (Deutsch-Russisch/Russisch-Deutsch)', *Studia Slavica in Honorem Viri Doctissimi Olexa Horbatsch*, Teil 3, München, 171-198.

Berlin